
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+
Снегирь

Елена Чикина
Снегирь

https://litres.ru/74718508
SelfPub; 2026

Аннотация

Я люблю маму. И папу тоже. Но в голове до сих пор — как все разрушилось, папа скрипел зубами, затем потащил в «Москвич», и мы уехали с ним в деревню.

Мне тут не нравится. Хочу к маме. Хочу домой!

Папа стал странный, но сказал: «Всё будет хорошо. Найдешь друзей в школе» -

я ему верила.

Только друзей не было, были Они...

Руки. Глаза. Зубы. Дразнят, трогают, всегда рядом. Мне страшно.

Папа уже не папа. Не спасёт.

Но появилась та, кто сможет, — только она тоже боится, не их. Бога.

Надежда только на меня. Каждый день, каждый час. Должна падать, ползти, сражаться.

Чтобы не стать — их снегирем.

Содержание

СНЕГИРЬ	4
1	5
2	7
3	10
4	15
5	19
6	24
7	29
8	32
9	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Елена Чикина
Снегирь

СНЕГИРЬ

Елена Д.—Чикина

1

Вдох. Выдох. Вдох.

Нос утыкается во что-то тёплое и пушистое. Такое пушистое, что с каждым вдохом крошечные ворсинки щекочут ноздри, заставляя тихо фыркнуть.

— Ха-а...

Щекотно. Но она не отстраняется. Наоборот, ещё сильнее прижимается лицом.

Пушинки пахнут снегом, холодным воздухом после долгой прогулки, чуть-чуть влажной шерстью. И теми духами, которые мама всегда брызгала перед выходом из дома. Сначала под подбородок, потом — в ту самую ямочку, в которую Маше всегда хотелось ткнуться носом.

Запах смешался с мехом так крепко, будто всегда жил внутри него.

Потом щеки касается тёплая ладонь. Осторожно. Большой палец гладит кожу, остальные проводят вверх и вниз, словно боятся чего-то, совсем непонятно чего.

Рука чуть сильнее прижимает лицо к шубе. Но этого мало.

Хочется, чтобы запах залез глубже. Чтобы пропитал кожу, въелся в неё так глубоко, что уже ничто не смогло бы его забрать. Чтобы можно было дышать им, жить в нём всю жизнь.

Мама чувствует это, но в ответ только смеётся:

— Ма-аша.

Громче:

— Маша!

Гнилые стены, снова они и снова этот ковёр. Маша открывает глаза, трёт их двумя руками, но ковёр не уходит. Наоборот, будто расползается всё шире, пока его грязный узор не начинает давить прямо в глаза. Потом — в виски.

— Уйди, — шепчет, — У-хо-ди.

Но нет, всё тут же.

И запах гнили, стены.

И весь этот дом.

2

Первый час

«Может быть, здесь не так страшно?..»

Маша медленно открыла глаза и долго смотрела в потолок.

Белая краска вздулась пузырями. Если прищуриться, один был похож на кита. Другой — на мамину ладонь. А третий — на любимые облака!

Только облака не пахнут плесенью.

Она сморщила нос. Влажный запах гнилого дерева сразу забрался глубоко в лёгкие и неприятно защекотал горло. Казалось, сам воздух здесь был сырым, тяжёлым, словно его уже кто-то долго-долго выдыхал до неё.

«Дома потолок был белый...»

Мысль вспыхнула неожиданно.

Белый, ровный. На нём мама однажды нарисовала карандашом маленькую звёздочку и потом долго смеялась, пока папа делал вид, что очень сердится.

«Папа».

Мысль ударила под рёбра.

После в мозгу всплыли его зубы. Его мышцы на спине — как они напрягались, когда он крутил руль. Как вышел из «Москвича» и открыл рот. Просто стоял.

Маша резко поднялась.

— Папа?..

Пружины жалобно скрипнули под коленями. Она поползла к окну. Металл больно впивался в ноги, оставляя красные полосы, но она почти не чувствовала боли. Только быстрее. Ещё немного.

Ладони легли на холодный подоконник.

Папа стоял там же. Спиной.

На плечах висело тяжёлое мокрое пальто. Оно казалось чужим. Совсем не тем самым, которое раньше пахло морозом, бензином и табаком, когда они всей семьёй ездили в зоопарк. Тогда Маша любила хватать папу за руку. Она всегда была тёплой.

Сейчас уже нет.

Она прижалась лбом к стеклу. Холод сразу пробрался под кожу. Дышать стало трудно, но так папу было видно лучше.

Его лопатка дёрнулась, затряслась. Так, будто он...

— Папа боится?.. — резко, вслух.

Куски дерева в стенах не ответили.

Маша кинула себя обратно на пружины, ударилась о металл. Напрягла пальцы, схватила ноги и прижала их к животу.

«Всё будет хорошо», — засунула голову между коленей, пытаясь не думать, слышать только лёгкие, их хрипы, свой пульс прямо в перепонках. И думать в третий раз про мамину шубу, её мягкую кожу на подушечках пальцев.

«Всё будет хорошо».

Но из головы вылезло другое: как мама шепчет, как папа выпучивает глаза, вжимается в запястье, заталкивает в машину. Снег, гниль, эта деревня, этот дом.

Резко — новый запах. Мазут. Железо. Табак.

Он пришёл.

Маша сильнее сжалась.

— М-м, — голос хриплый. Сгорело горло. Слишком много кричал. — М-м.

Папа протянул детского медвежонка. Выглядел тот будто измученный: три дыры, нет глаза, на лапах присохла грязь. Но папа гладил его рукой и тянул прямо к щеке.

— Выживем. Хорошо всё будет, — сказал он и попытался сделать подобие улыбки.

Мех игрушки оказался таким мягким, что тело понемногу стало расслабляться.

Папа взглянул на ковёр. Стал другим, странным. Выпучил глаза. Зачмокал губами. Каждый ус стал вставать проволокой.

— Работа. Работать. Выжить, — шептал.

«М-м-м» — она потянулась к колену, уткнулась носом в протёртую ткань штанов. Рядом с папой стало тепло. Улыбнулась — правильно, с двумя ямочками, так, как учила мама.

Но папа не двинулся, не обнял. Просто стоял, смотрел в ковёр и шептал.

3

Папа сказал, что записал в школу.

«Наверное, там все хорошие, да?»

Темно, она идёт. Что-то мокрое забивается под подошву, чавкает и мочит ногу. В папиных калошах нога бы не замёрзла, но нет — нацепила эти туфли.

Маша глянула под ноги. В двух местах расходится подошва, сбоку четыре дырки. Зато бантик, который пришила к ним мама, ещё не оторвался, а с ним почему-то сразу спокойнее.

Она шмякнула по луже и пошла в тёмную глубь.

«Школа уже рядом. Там друзья. Папа сказал, я их найду. Обязательно найду.

Друзья, наверное, сначала спрашивают, как тебя зовут. А потом спрашивают про то, что им нравится. Думаю, здесь так и будет ».

Впереди пробежал чей-то затылок. Она отшатнулась, но пошла дальше.

Десять ртов ринулись толпой из-за дерева. Зашлёпали губами, оголили зубы.

«Они мне улыбаются?» — Маша не могла двинуть телом. Стояла, всматриваясь в каждый зуб. «Улыбаются. Както немного...странно. Но всё равно улыбаются — значит, хорошие».

Только теперь смогла идти дальше.

В ноздрях появился новый запах. Он точно шёл из темноты, от пятна с табличкой «Средняя Ключевская школа».

Сердце ёкнуло. Запах варенья и хлорки? Нет, не то — страницы. Да, те самые, библиотечные, которые хочешь листать часами, забраться в них с ног до головы, чтобы почувствовать этот запах каждой порой кожи.

Маша понеслась глубже, за дверь, в рекреацию.

Замерла.

Вокруг пусто. Только неснятый Горбачёв смотрит выцветшим глазом ей в роговицу.

«Бред», — глотнула она. «Где все?»

Маша съёжилась в горбатый комок.

«Придут».

Моргнула и зачем-то засунула пальцы в рот, потянула губы в улыбку.

«Я хорошая. Все придут и увидят, что я тоже хорошая».

Она простояла так восемь секунд, глядя на входную дверь.

Никто не пришёл. Только Горбачёв продолжил смотреть, и, казалось, его глаз сейчас выпадет.

«Наверное, ему тоже скучно одному. Если бы он умел сходить со стены, ему бы тоже захотелось с кем-нибудь дружить».

Резкий скрип. Из какой-то двери — голос, много голосов: басистые, писклявые, мягкие и дерущие перепонки. Она прошла пяткой назад.

Табличка: «Тридцать первый кабинет. Бойко Алевтина Андреевна. Математические науки».

«Знакомое. Папа говорил: «Пойдёшь туда»».

Маша берётся за ручку. Внутри подушечек пальцев колотится.

Из дверной щели выбились слова:

— Я ему рубль, а этот сукин сын…

— Да кто такому дрыщу, как ты, Трупик, хоть копейку даст? А он тут рублями замахивается.

— Да Алевтины нет ещё, чё ты.

— Нету, нету. Припрётся же, леща тебе, рыжему, всыплет.

Маша крутит рукой. Рукав сползает.

«Нет».

Оголилась стыдная костлявая рука, и дверь открылась.

Все смотрят. Она тут же спрятала кисть в сарафан.

— Ты ещё кто? — Голос справа.

— Я Маша Санычева. А вы, наверное, восьмой «А»? Мой класс?

И снова губами в улыбку.

— А ты чё улыбаешься?

— Нельзя? — вырывается с удивлением. — Мама говорила: «Когда знакомишься, всегда нужно улыбаться, чтобы знали что ты хороша».

Маша переводит взгляд по рядам, пытаясь разглядеть их странные лица.

— А вы… тоже улыбаетесь. Значит, точно хорошие.

Они стали другими. Улыбки исчезли, а лица — потные куски камня, без ртов.

«Наверное, они просто устали», — подумала Маша.

— Смотри, — единственный шёпот.

Маша не знала, ей это или нет, поэтому просто стояла. Но за спиной почему-то стало теплеть. И вонять. Она повернулась и упёрлась глазами не в лицо, а в громадный живот с натянутой поверх заношенной до блеска курткой.

Взгляд ползёт вверх. Выше. Ещё выше: воротник, щетина, куча гнойных прыщей. И два глаза, которые смотрят на неё, как на предмет.

Он молчит. Стоит. Смотрит прямо в Машину голову.

— Привет, — шепнула она.

Кто-то сзади прижался к парте.

А он всё ждёт. Дышит, как собака.

— А ты любишь собак? — мамина улыбка.

Он расширяет ноздри. Топает ботинком. Быстрее. Быстрее.

— Садитесь все! — В класс ворвалась высокая женщина. Наверное, Алевтина.

Он сел.

— Звонок уже прозвенел.

Женщина встала посреди кабинета. Маша не села.

— Звонок прозвенел. Все чужие расходятся, — она кашлянула и стукнула журналом по столу.

—А она не чужая, она Ма-а-ашенька, — раздался писк.

«Машенька».

Она давно не слышала, чтобы так назвали.

«Я — Машенька».

Учитель забурилась глазами в журнал.

— Садись. Туда, с Газаловым.

Маша звякнула костью и села назад, туда, к кому-то длинному. В позвоночник ударило дыхание. Сбившееся, собачье. Она не обернулась, но крепче прижала ладони к коленям.

«Главное — улыбаться».

Дыхание за спиной стало ещё ближе.

4

В позвоночнике кололо.

Но теперь — не от дыхания. От мороза.

Он медленно забирался под сарафан, под подол пальто, цеплялся за колени, поднимался по спине всё выше — к лопаткам, к шее. Под воротником становилось сыро, будто снег таял прямо на коже.

Пальцы в туфлях уже почти перестали чувствоваться. Только то, как они немножко упираются друг в друга и из-за этого становится немного теплее.

Ветер бил в лицо. Сначала по щекам. Потом — прямо в ноздри.

Запах старых страниц исчез. Растворился очень быстро, будто его даже не было. Теперь вместо него был холод — тяжёлый, сырой, с запахом железа и мокрого дерева.

Маша могла бы зайти домой, но почему-то продолжала стоять. Смотрела туда, где начинался туман. Как он полз между деревьями, забивался между стволами, ложился на снег маленькими комками. Чем дольше она смотрела, тем сильнее казалось, будто он не плывёт, а дышит. Как человек.

«Они назвали меня Машенькой?..»

Ветер снова ударил. Теперь глубже.

«Ма-а-шенькой».

Звучало так мило и по-доброму, но почему-то стало немного противно.

За затылком появился новый запах. Приятный. Прямо как мамина любимая «Мимоза».

На секунду даже показалось, что сейчас она повернётся — и мама окажется рядом.

Но запах менялся. В нём становилось всё меньше тунца из плоских консерв.

Больше табака, мазута. Больших железных кусков, которые тяжело поднимать.

Чавк. Чавк — папа. Он подошёл совсем близко. Остановился у лопаток.

Маша чуть повернула голову и уже хотела открыть рот и сказать, но ветер снова ударил в зубы.

Губы сами сомкнулись. Она так ничего и не сказала.

Туман становился гуще. Деревья медленно исчезали в нём одно за другим. Школа тоже начала бледнеть, будто кто-то осторожно стирал её, как ластиком, мама, когда рисовала.

Папа молчал. Маша тоже.

Холод всё сильнее стягивал кожу. Она крепче сжала пальцы внутри туфель, но от этого стало только больнее.

— М-м... — дыхание в спину.

Маша обернулась.

Папа уже замолчал. Только смотрел куда-то в снег. На крапинки или на...

Она отвернулась.

Ветер шуршал ветками. Пополз к большому зданию и скрипнул калиткой. После — опять стало тихо.

— З-з... замёрзла?.. — спросил он почти неслышно.

Маша снова попыталась ответить, но губы не разошлись, вышел только звук: — Мгм.

Папа глухо кашлянул в кулак. Раскрыл их и затем долго стал тереть ладонь об ладонь: ш-ш-ш.

И вдруг всё вокруг перестало двигаться. Туман больше не дышал. Ветки замерли. Даже ветер перестал быть таким холодным.

Только папина рука поднялась и осторожно легла Маше на затылок.

Кожа шершавая. Такая колючая! Аж у шеи начинает медленно колотиться.

И неожиданно ладонь была очень тёплой. Не такой, как ворсинки у одеяла. Слишком живой. Сначала тепло осталось только под его ладонью, а потом медленно стало расползаться по волосам, по затылку, по шее, спустилось к плечам и наконец дошло до позвоночника и ног.

Пальцы на ногах перестали болеть. Щёки больше не щипало.

И стало так странно.

Маша закрыла глаза всего на секунду и впервые за зиму почувствовала такое приятное, но странное тепло.

Он ещё немного подержал ладонь у неё на голове. Потом очень осторожно убрал её. И сразу стало холоднее.

Не так сильно, как раньше. Немного.

— Пошли, — прошептал и почти незаметно кивнул в сторону дома.

Чавк. Чавк — медленно пошёл.

5

За окнами плывут облака: одно — как круглый мячик, другое — белое пятно, а третье — что-то вытянутое и пушистое, будто кто-то долго тянул вату, которую продают в красивых разноцветных цирках.

Солнце светит облакам прямо в макушки, и они медленно расползаются то влево, то вправо. Так спокойно, что Маша смотрит и не может даже моргнуть.

Толчок в плечо. Облака сразу уплывают.

— Пройти дай, — раздаётся мёртвый голос за спиной.

Маша откатывается назад, проворачивает шею.

Чёлка — ровным штрих-кодом. Тело слишком длинное, будто его забыли остановить, и оно продолжало расти. Передний зуб отколот, а язык всё время вылезает наружу и болтается.

Газалов. Тот самый, про которого говорила Алевтина. Но почему-то другие называют его Трупом.

«Странно. Наверное, ему так нравится».

— Привет, — она снова заставила себя улыбнуться.

Газалов медленно скрипнул шеей.

— Тебя называть, как они? Труп?

Он ничего не ответил. Только сильнее прижался к стене.

— А я просто Маша, — сказала уже тише.

Газалов ещё ниже опустил голову. Чёлка закрыла лицо целиком. Но кончик языка снова вылез из дырки между зубами.

Маша долго смотрела на его чёлку, которая торчала, как высохшая трава. Хотела сказать что-то мамино, но слова застряли в нёбе, как сухие хлебные крошки.

«Ну ладно...»

Коридор загудел. Хлопнула дверь, послышался гогот.

И тут же в класс ввалилось тридцать голов, локтей, носов. Задели стулья, кинули рюкзаки.

Они шли прямо к Маше.

«Сейчас...» — выпрямилась. — «Сейчас подойдут, познакомятся».

Никто не подошёл.

Тела прошли дальше, сели. Маша осталась стоять.

— Садимся, — Алевтина зашла, цокая каблуком.

Пришлось сесть.

Учительница открыла журнал.

«Может, хотя бы она?»

— Страница девяносто восьмая. Читаем.

Нет.

В груди что-то медленно опустилось. Будто ложку положили на дно пустой кружки.

Машу начинает трясти. Сначала чуть-чуть. Потом сильнее.

— Алевтина Андреевна! — Машин крик ударился о сте-

ны.

Она выпрыгнула из-за парты, шлёпнула.

— Вы даже не познакомили меня с ребятами...

В классе стало совсем тихо.

Только одна девочка с маленькой горбинкой на носу подняла глаза. Посмотрела. Почти сразу отвернулась.

— Кутузов, — сказала Алевтина, не поднимая головы от журнала. — Иди знакомь.

Учитель выставила палец.

Маша стоит, как прикованная. Смотрит. С последней парты вскакивает кто-то низкорослый.

«Всё будет как тогда. Познакомят, а потом будем играть в резиночку или классики!»

Резкая вонь.

Выполз кроссовок с дырой. Но наступает слишком громко, специально громко.

— Машка... Ты чё не улыбаешься? — сказал ласково, как мама. — Ты ж радостная всегда.

Улыбаться не хотелось.

Маша попробовала. Губы не двинулись.

Кутузов наклонил голову.

— Ты чё... Боишься? — показал зубы.

Засунул палец в рот. Оторвал кусок ногтя.

Палец на Машиной правой руке почему-то сам дёрнулся.

Он заметил.

— Я же хор-о-о-оший.

Схватил.

С его кожи свисала слюна. А остаток ногтя направил к её коже.

Провёл — вперёд-назад. Ещё раз.

— Хороший, — Маша.

Но почему-то неприятно.

— Это...

Он неожиданно положил ладонь Маше на затылок.

— Это Юленька Семшина. Она тоже хоро-о-ошая.

Девочка даже не подняла глаз.

Продолжала рассматривать ногти.

— Это...

Кутузов повернул её ещё дальше.

Газалов втянул щёки. Череп стал чётким, будто он без кожи.

— Володя.

Маша хотела ему улыбнуться, как утром. Но он снова куда-то запрятался.

— А это...

Кутузов вдруг замолчал. Его пальцы на затылке стали жёстче. Почти перестали двигаться. Он смотрел вперёд. И почему-то перестал улыбаться. Задышал громко. Часто. Словно много лизал языком.

— Ник-к-колай...

Та самая куртка. Тот самый живот. И ручка. Обычная синяя ручка. Коля ударяет её о парту: тук.

Посмотрел на Машу.

Тук.

Кутузов вдруг шумно втянул воздух.

Тук.

Не успевал вдохнуть, только тянуть языком воздух.

Тук.

— Хватит, — голос Алевтины ударил.

Кутузов дрогнул, сел на место. Сразу засунул палец в рот.

Алевтина глазами в Машу:

— Садись.

Костяшки в ногах странно завибрировали, в уша х появилось то дыхание, стук.

— Мг, — Маша губами пыталась отдёрнуть туловище.

— Садись!

Села.

«Молчи. Думай о хорошем».

Моргнула два раза. Почувствовала, как под рёбрами медленно останавливается, становится легче. Но в ушах колит.

Тук — сзади.

Он стучит. Он смотрит.

6

Звонок закричал, но тишина не наступила. Её сразу смёл животный грохот.

«Что они делают?..»

Одноклассники толкались, кричали. Их пальцы вцеплялись в рюкзаки друг друга, пихали в стороны, пока тела одно за другим пытались вывалиться из кабинета.

Маша осталась сидеть.

С каждой минутой она чувствовала, как вокруг становится пустее. Но не тише. И вонь мокрых кофт всё ещё стояла в воздухе.

Одна мысль начала медленно подниматься из мозга. Маша её оттолкнула.

«Нет, пусть идут».

Пальцы легли на книгу.

«Лучше буду читать».

Подушечками потянула обложку вверх. Страница открылась. Чудесный запах дерева — тоже.

Маша поставила ноготь на строчку, но буквы расплывались.

Переместила ниже. Всё равно расплывается. И четвёртая, и пятая.

Вонь никуда не делась.

Самая последняя спина выбежала так резко, что задела

парту.

Стук — парта качнулась.

Ещё немного — и упала бы, полностью.

Спина даже не обернулась.

«Сиди».

Снова пыталась заглушить эту мысль.

«Сиди».

Вдавила ноготь в цифру сбоку страницы. Остался тоненький отпечаток полумесяца.

«Сиди».

Не смогла.

Что-то внутри тихо щёлкнуло, и тело поднялось. Руками сбрасывала всё в портфель. Выставила вперёд ногу и рванула к той спине.

Сначала влево, потом вправо, потом вниз, по ступенькам.

Улица. Холод ударил сразу.

Прошла всего секунда, а туфли уже пережёвывали куски снега.

Та спина всё не останавливалась, заворачивала за угол, во двор.

Маша — за ней.

Издалека доносились крики.

Много.

Слишком много.

«Странно...»

Она наступила на жестяную банку. Раздался звон. Никто

даже не повернулся.

Толпа становилась всё ближе.

Спины. Шапки. Локти.

Крики:

— Бей!

— Давай суку!

— На мыло!

«Что?»

Икры потянули её дальше.

Толпа становилась всё плотнее. Ноги. Пальцы. Рты. Все тащатся в середину.

«И зачем?»

— Ау-ау-ауф — визг. Щенячий.

Она замерла. Мышцы — камни. В голове только визг. Только он, только визг. Рванула в середину. Перед лицом — чьи-то морды: тёмные, сливаются в пятно. Откидывает спины. Чувствует, как дышат в ухо.

Визг громче. Почти тут. Сейчас.

Резко — холод по коже.

Дворняжка. Точно такую же гладила в детстве: шерсть у неё была пышная, тёплая, а собака сама — игривая. Прыгала-прыгала, тыкалась носом в ладонь, оставляла мокрые пятна. Маша тогда смеялась. Мама стояла рядом и улыбалась: «Ну что ты, Маш, она же маленькая».

Но эта лежит...

Дёргается, прижимает мокрую голову к снегу. Маша мор-

гает — ресницы слипаются. Открывает глаза — и удар. Чья-то нога зарядила в собаку. Затем ещё — справа, слева. Ещё секунда, и из дворняги выбьют кишки.

— Не трогайте её, животные! — Маша сломалась. На языке появился вкус меди. Никто не услышал, но в кругу из ног появилась щель. Собака дёрнула лапу туда, где свет, ухватилась когтями за снег и потянула.

— Давай, ко мне, малыш. Давай. — Маша просунула кисть через чужую подмышку.

Лапа у сучки дрожит, но свет уже близко.

— Сюда.

Кто-то большой вылез из ниоткуда. Знакомая спина в заношенной куртке. Всей широтой зарывает щенка.

«Не успела...»

Маша видит арматуру. Она понимает — сейчас это произойдёт. Открывает рот, чтобы крикнуть, но из горла не выходит ничего. Ни звука. Только хрип.

А потом — чавк.

Мокрый. Глухой. Точно ломают мокрую ветку. И ещё.

Арматуры уже не видно. Засунули глубоко.

— А-у-у... А-ф-ф... — глухой визг.

А затем — глухота.

Куртка встаёт. Показывается продавленный снег. Маша моргает.

И тогда показывается оно.

Маша зажмуривается.

«Нет. Не оно. Точно не оно».

— Ха-хы-ха-ха, — в ухо. — Хы-хэх, — в шею.

Тихенький шорох. К ногам что-то прокатывается.

Глаза немного открылись.

Оно.

Шерсть красная, хлюпает. Лапка не движется. Собачье тело ударилось о туфлю и замерло.

Кто-то где-то опять — Маша уже не слышит. Только смотрит под ноги. Смотрит...

Время перестало течь. Спины и локти исчезли. Щенок у ног. Не тявкает. Не дышит. Запах железа теперь повсюду.

Лапа поднялась? Нет. Просто ветер.

Пусто. Лёгкие слиплись. Она потёрла нос и учуяла что-то новое: страницы, молоко. И ладан.

— Барбос... — шёпот сзади.

Маша оборачивается.

Чёрная папка. Крестик. Два зелёных глаза — на труп.

К олени девочки ломаются. Пальцы без ссадин лезут в сгустки, ищут сердце. Кровь по локоть.

Маша моргает. Зелёные глаза моргают тоже, а потом смотрят прямо в Машины и улыбаются.

Маша попыталась улыбнуться в ответ, но улыбка не вышла. Только мёртвый скрип мышц. Арматурный.

7

Снег хрустит, как арматура.

Ноги сами бредут вперёд, оставляя позади и собаку, и ту девочку. Сколько прошло времени, где она сейчас, далеко ли дом — Маша не знает. Просто идёт. Куда-то дальше. Подальше от школьного двора. Подальше от визга.

Любимые туфли испачкались. К подошве налипла толстая корка грязи, бантик совсем обмяк, а на нитке будто повис маленький комочек снега. Или не снега.

Она не всматривается.

Перед глазами только одно большое расплывчатое пятно. И собственные ноги, которые почему-то всё ещё идут.

«Домой... К папе... Папа сварит суп...»

Пятно качнулось.

«Папа поможет».

Она попыталась вспомнить его ладонь. Как она тогда легла на затылок, и холод вдруг начал отступать, будто кто-то разжёг внутри маленькую печку.

Получалось плохо.

Тепло всё время ускользало.

Стоп.

Туфли сами остановились.

Прямо перед носом, на тонкой ветке, сидело маленькое

красное пятнышко.

Глаз-бусина. Совсем как те чёрные, что мама пришивала к кофтам.

Острый клюв, тонкие лапки.

Снегирь.

Маша долго смотрела. Моргала.

Перья на груди стали краснеть ещё сильнее. Чавкать. Будто в них дыры. Будто сейчас подойдут. Возьмут арматуру. И...

У талии вдруг стало тепло.

Чужой запах.

Маша вздрогнула.

Красное пятно дрогнуло, сорвалось с ветки и исчезло где-то между деревьями.

Она ещё несколько секунд смотрела на пустую ветку.

Дышала. Быстрее, быстрее.

А потом воздух вокруг неё медленно наполнился чем-то тёплым и давно забытым — молоком, ладаном и сухими старыми страницами, и этот запах подошёл так близко, что Маша почувствовала, как дыхание само собой останавливается, а затем выходит наружу долгим, ровным выдохом, будто внутри наконец отпустило.

Та девочка стояла позади.

Кончик её пальца лежал у Маши на талии — осторожно, почти невесомо, словно боялся сделать больно.

Маша опустила взгляд. Палец тут же вздрогнул и быстро

спрятался в кулак.

Зелёные глаза смотрели в землю.

Ладони дрожали. Очень сильно.

Они долго не решались разжаться, а потом медленно протолкнули между Машиных пальцев сложенный вчетверо тетрадный лист.

Маша осторожно развернула его.

На бумаге был снегирь. Тот самый. Взъерошенные крылья. Клюв. Бусина.

Рисунок был сделан обычной синей ручкой, но линии дрожали так, будто рука рисовала очень долго или всё это время мёрзла.

Маша подняла голову. Сердце вдруг стало очень тихим.

Девочка уже отступила на шаг, прижала к груди чёрную папку, ещё раз посмотрела прямо Маше в глаза — и ушла.

Пар медленно выходил изо рта.

Маша снова опустила взгляд на рисунок.

Провела пальцем по краю листа.

Снегирь всё так же сидел на белой бумаге — взъерошенный, настороженный, с живым глазом-бусиной.

Но крови на его грудке не было. Только синяя паста, тёмная — прямо как папин табак.

8

Губы сжали самокрутку, затянули. Табак, скотина, рассыпался по губам. Синий дым ушёл в небо.

Пусто. Холодно. Кожа на руках — чугун.

«Домой надо».

Сапог вдавил окурок в снег. Чавк — и ещё раз, для надёжности. Сергей шёл к порогу, чувствовал — мазутом больше не воняет. Теперь вонью той, от которой тошнит с детства. Домашней. Постоял на входе. Минуту, может, больше.

Посмотрел на ковёр. Тот самый, дырявый. Пот по шее пошёл.

В ноздри лезет капуста мочёная. Пыль от ниток. Бабская фуфайка[1]. Пот по позвоночнику — кап-кап-кап. Губы сами собой чмокают. Влажно сначала. Потом суше. И шорканье — будто снова рядом. Те жилистые, распухшие, её...

— Гхм! — культяпкой долбанул себя по башке.

Всё. Отпустило.

«М-Машке... суп надо сварить, блин».

Моргнул. Переступил с ноги на ногу. Потихоньку побрёл на кухню. Ноги шлёпают. Носки в дырках — моль пережрала, зараза. Нагнулся — под краном ведро для картошки. За-

[1] Фуфа́йка — тёплая нательная одежда, закрывающая туловище и руки.

сунул культяпку[2]. Пусто. Вытащил её — ногти в грязи, по самые корни. Залез в ящики. Покопался. Нашёл три штуки. Последние.

— Три... — сам себе сказал. Губа причмокнула, будто пересчитала. — Сегодня из трёх будем.

Ус дёрнулся, из-под него волос выпер — кривой, ножницами покусанный. Левой взял самую большую. Сжал. Картофелина хрустнула, но не треснула — крепкая, деревенская. Поднёс к носу. Понюхал. Свежая ещё. Достал из кармана чебурашку[3]. Взял в правую и заскрёб по картошке. Хрясь. Хрясь — соскользнуло лезвие. Прямо по пальцу. Но тому — хоть бы хны. Кожа мужицкая, толстая. Простой чебурашкой[1] не возьмёшь. Срезал полоску. Отковырял грязь ногтем. Шлёпнул в раковину — как гранату. Взял вторую. Меньше. Корявее. Поскрёб. Губы уже как сухари, а всё чмокают. Не остановишь. Замер уже не от запаха, от звука.

Тут, рядом, что-то жирное, маленькое. С панцирем хрустящим. Бегает лапками по лезвию, по куску ногтя. А потом трясёт своими усиками. Тонюсенькими. И липкими, будто мёд жрал. Или кашу.

...Её любимую.

Глаза — точки.

И сама рука с чебурашкой — хрясь вниз, со всей дури.

---

[2] Культя́пка — разговорное слово имеющее в виду — «руку», в дословности — «обрубок конечности»

[3] Чебура́шка — разговорное название выкидного ножа «Super Automatic».

Хрясь ещё раз. Второй. Сок липкий по пальцам потёк. По раковине. Ещё — хруст. На зубах. В ушах. Противный, как тогда. В тот день.

Чебурашка из рук вылетела. А ладонь потная. Сок тот всё на пальцах. Тёмный при тёмный, как в той овсянке.

— Сволочь... — прошептал.

Не понял — это она сказала? Или сам?

А кожа стала светлеть. Сделалась мягкой, как у дитёнка. Как у него в шесть лет:

1962

Баба говорила: фашист — это самый плохой дядя на свете. И сказала, что папа у меня фашист и мама тоже. Поэтому я жил с Бабой, ведь Баба хорошая.

Она купала меня в корыте, тёрла коричневым мылом, которое пахло собакой. Руки у неё были огромные, сухие, как коряги, и она тёрла ими спину. Было больно, были красные пятна, но я терпел. А потом варила кашу. Без сахара. Говорила, что фашисты кашу не едят, поэтому я должен есть. Всю до дна. Я ел. Было вкусно.

Но потом Баба стала странная. Ноги у неё сделались синие, мёртвые, и всё в синяках. Она плакала по ночам. Кричала в стену. Просила капусту. Много. Ей казалось, что капуста всё вылечит. А потом кричала: «На завод работать пойдёшь!» И снова каша. Каждый день.

И день за днём она становилась серее. Комков больше. И

уже не понятно: это комки или это что-то живое.

А Баба страшнее. Баба... Она...

Сижу за столом. В миске овсянка. Вожу ложкой — делаю вид, что ем. Вожу, вожу по кругу, против, а наверх что-то вылазит. Тёмное. Маленькое. С усиками.

— Баба, там таракан!

Я отпрыгнул. А потом сразу же заткнулся.

Рука её — огромная, вся в узлах и чёрных ногтях, как грабля — нырнула прямо в тарелку. Месит овсянку голыми пальцами.

— Нет там ничего! Жри, падаль! — загребла комок в ложку до краёв.

Я сжал губы.

— Жри, кому сказала! — хватает меня за запястье — кости хрустят — и суёт ложку в рот. Вдавливает. — Тебе сейчас на завод переть.

— Баб... — а на зубах скрипит. Сухарь? Нет. Панцирь. Чей-то. Тоненький, хрустящий. Глотать не могу. В горле встало колом.

— Што тебе Баб?! — Морщины на лице с густились. — Если работать не хочешь, я подохну! Ты этого хочешь, тварь?! Этого?! — Она сжала кулак и размазала кашу по своей же руке.

— Нет...

— Значит, жри! — плюнула. Села напротив. Глаза выпучила, жёлтые. — Жри, сволочь фашистская...

Глаза её всё ближе. Сергей моргнул — пусто. На руках всё ещё дохлый таракан.

«Надо работать».

Он не вымыл руки. Стал работать. Опять.

9

— Так вкусно... Папа, наверное, очень устал сегодня работать.

Губы стянуло горячим супом, бульон стекал по подбородку и подсыхал на коже тонкой плёнкой. Впервые за долгое время он был таким тёплым. Хотя в тарелке почти ничего не плавало, Маша всё равно стучала ложкой по дну, вылавливая каждую картошку, каждую крошку, зачерпывала до самых краёв и всё быстрее несла ко рту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.